
А. А. Григорьев

Искусство и правда. Элегия — ода — сатира

О, как мне хочется смутить веселье их
И дерзко бросить им в лицо железный стих,
Облитый горечью и злостью!

Лермонтов

I.

Была пора: театра зала
То замирала, то стонала,
И незнакомый мне сосед
Сжимал мне судорожно руку,
И сам я жал ему в ответ,
В душе испытывая муку,
Которой и названья нет.
Толпа, как зверь голодный, выла,
То проклинала, то любила...
Всесильно властвовал над ней
Могучий, грозный чародей.

Я помню бледный лик Гамлета,
Тот лик, измученный тоской,
С печатью тайны роковой,
Тяжелой думы без ответа.
Я помню, как пред мертвецом
С окаменившимся лицом,
С бессмысленным и страшным взглядом,
Насквозь проникнут смертным холодом,
Стоял немой он... и потом
Разлился всем душевным ядом,
И слышал я, как он язвил,
В тоске больной и безотрадной,
Своей иронией нещадной
Все, что когда-то он любил...
А он любил, я верю свято,
Офелию побольше брата!
Ему мы верили; одним
С ним жили чувством, дети века,
И было нам — за человека,
За человека страшно с ним!

И помню я лицо иное,
Иные чувства прожил я:
Еще доныне предо мною
Тиран — гиена и змея,
С своей язвительной улыбкой,
С челом бесстыдным, с речью гибкой,
И безобразный, и хромой
Ричард, коварный, мрачный, злой.
Его я вижу с леди Анной,
Когда, как рая древний змей,
Он тихо в слух вливает ей
Яд обаятельных речей
И сам над сей удачей странной
Хохочет долго смехом злым,
Идя поговорить с портным...
Я помню сон и пробужденье,
Блуждающий и дикий взгляд,
Пот на челе, в чертах мученье,
Какое знает только ад.
И помню, как в испуге диком
Он леденил всего меня
Отчаянья последним криком:
«Коня, полцарства за коня!»

Его у трупа Дездемоны
В нездешних муках я видал,
Ромео плач и Лира стоны
Волшебник нам передавал...
Любви ли страстной нежный шепот,
Иль корчи ревности слепой,
Восторг иль грусть, мольбу иль ропот, —
Все заставлял делить с собой...
В нескладных драмах Полевого,
Бывало, за него сидишь,
С благоговением молчишь
И ждешь: вот скажет два-три слова, —
И их навеки сохранишь...
Мы Веронику с ним любили,
За честь сестры мы с Гюгом мстили,
И — человек уж был таков —
Мы терпеливо выносили,
Как в драме хвастал Ляпунов.

Угас вулкан, окаменела лава...
Он мало жил, но много нам сказал,
Искусство с ним нам не была забава;
Страданием его повита слава...
Как Промифей, он пламень похищал,
Как Промифей, он был терзаем враном...
Действительность с сценическим обманом
Сливались так в душе его больной,

Что жил вполне он жизнью чужой
И верил сердца вымышленным ранам.
Он трагик был с людьми, с собой один,
Трагизма жертва, жрец и властелин.

Угас вулкан, но были изверженья
Так страшны, что поддельные волненья
Не потрясут, не растревожат нас.
Мы *правду* в нашем трагике любили,
Трагизма *правду* с ним мы хоронили;
Застыла лава, лишь вулкан погас.
Искусственные взрывы сердцу чужды,
И сердцу в них нет ни малейшей нужды,
Покойся ж в мире, старый властелин...
Ты был один, останешься один!

II.

И вот пришла пора другая...
Опять в театре стон стоит;
Полусмеясь, полурыдая,
На сцену вновь толпа глядит,
И с нею истина иная
Со сцены снова говорит,

Но эта правда не похожа
На правду прежнюю ничуть;
Она простее, но дороже,
Здоровей действует на грудь...
Дай ей самой здоровье, Боже,
Пошли и впредь счастливый путь.

Поэт, глашатай правды новой,
Нас миром новым окружил,
И новое сказал он слово,
Хоть правде старой послужил.
Жила та правда между нами,
Таясь в душевной глубине;
Быть может, мы ее и сами
Подозревали не вполне.
То в нашей песне благородной,
Живой, размашистой, свободной,
Святой, как наша старина,
Порой нам слышалась она,
То в полных доблестей сказаньях
О жизни дедов и отцов,
В святых обычаях, преданьях
И хартиях былых веков,
То в небалованности здоровой,
В ума и чувства чистоте,
Да в чуждой хитрости лукавой
Связей и нравов простоте.

Поэта образы живые
Высокий комик в плоть облек...
Вот отчего теперь впервые
По всем бежит единый ток,
Вот отчего театра зала,
От верху до низу, одним
Душевым, искренним, родным
Восторгом вся затрепетала.
Любим Торцов пред ней живой
Стоит с поднятой головой,
Бурнус напялив обветшалый,
С расстрепанною бородой,
Несчастный, пьяный, исхудалый,
Но с русской, чистою душой.

Комедия ль в нем плачет перед нами,
Трагедия ль хохочет вместе с ним,
Не знаем мы и ведать не хотим!
Скорей в театр! Там ломаются толпами,
Там по душе теперь гуляет быт родной,
Там песня русская свободно, звонко льется,
Там человек теперь и плачет, и смеется,
Там — целый мир, мир полный и живой...
И нам, простым, смиренным чадам века,
Не страшно — *весело теперь за человека!*
На сердце так тепло, так вольно дышит грудь,
Любим Торцов душе так прямо кажется путь!
Великорусская на сцене жизнь пирует,
Великорусское начало торжествует,
Великорусской речи склад
И в присказке лихой, и в песне игреливой,
Великорусский ум, великорусский взгляд, —
Как Волга-матушка, широкий и гуляливый!
Тепло, привольно, любо нам,
Уставшим жить болезненным обманом...

III.

Театра зала вновь полна,
Партер и ложи блещут светом,
И речь французская слышна
Привыкших шарить по паркетам.
Французский п произносить
Тут есть охотников не мало
(Кому же обезьяной быть
Ума и сметки не ставало?)
Но не одни *бонтоны* тут:
Видна мужей ученых стая;
Похвальной ревностью пылая,
Они безмездно взяли труд
По всем эстетикам немецким
Втолковывать героям светским:

Что есть трагизм, и то, и се,
Корнель и *эдакое все...*
Из образованных пришли
Тут два-три купчика в немецком...
(Они во вкусе самом светском
Себе бинокли завели).

Но бросим шутки тон... Печально, не смешно —
Что слишком мало в нас достоинства, сознания,
Что на эффекты нас поддеть не мудрено,
Что в нас не вывелся бичеванный давно
Дух рабского, слепого подражания!
Пушкой она талант, пусть гений! — дай бог ей!
Да нам *не ко двору* пришло ее искусство...
В нас слишком девственно, свежо и просто чувство,
Чтобы выкидывать колена *почудней*.

Пусть будет фальшь мила Европе старой
Или Америке беззубо-молодой,
Собачьей старостью больной...
Но наша Русь крепка. В ней много силы, жара;
И правду любит Русь, и правду понимать
Дана ей Господом святая благодать;
И в ней одной теперь приют себе находит
Все то, что человека благородит.

Пусть дети старые, чтоб праздный ум занять,
Хлам старых классиков *для штуки* воскрешают...
Но нам за ними лезть какая будет стать,
Когда иное нас живет и занимает?
Пушкой боролися в недавни времена
И Лессинг там, и Шиллер благородный
С ходульностью — (увы — как видится, бесплодно!)
Но по натуре нам ходульность та смешна.

Я видел, как Рислей детей наверх бросает...
И больно видеть то, и тяжело было мне!
Я знаю, как Рашель по часу умирает,
И для меня вопрос о ней решен вполне!
Лишь в сердце истина: где нет живого чувства,
Там правды нет и жизни нет...
Там фальшь — не вечное искусство!
И пусть в восторге целый свет,
Но наши неуместны восхищенья.
У нас иная жизнь, у нас иная цель!
Америке с Европой — мы Рашель,
Столодвижение, иные ухищренья
(Игрушки, сродные их старческим летам)
Оставим... Пусть они оставят *правду* нам!

А. А. Григорьев

Искусство и правда. Элегия — ода — сатира

Впервые: М. 1854. № 3–4. Отд. VIII. С. 76–82. Цензурное разрешение — 15.02.1854. Цензор Д. С. Ржевский.

Основные переизд.: Павел Степанович Мочалов. М., 1953; Григорьев А. А. Избр. произв. Л., 1959 («Библиотека поэта»). Большая серия; примеч. Б. О. Костелянца, в изд. частично приведены варианты списка РГАЛИ; Григорьев. Стихотворения; примеч. Б. Ф. Егорова, в изд. приведены варианты списка РГАЛИ.

Источники текста:

Авт. РГАЛИ — автограф с заглавием «Рашель и правда», эпиграфом из Лермонтова и посвящением «Славной памяти Павла Степановича Мочалова и живой славе Александра Николаевича Островского и Прова Михайловича Садовского, посвящает Ап. Григорьев», с пометами рукой М. П. Погодина (РГАЛИ. Ф. 160. Оп. 1. № 5).

Авт. ГЦТМ — автограф из фонда А. Н. Островского в ГЦТМ им. Бахрушина, без заглавия и эпиграфа, сохранилось начало — строки 1–44 и конец — ст. 202–219 (ГЦТМ. Ф. 200. № 3649). Текст на плотной и толстой бумаге, на которой известны и другие рукописи Григорьева, отложившиеся в фонде Погодина в РГБ (Ф. 231).

Список ГЦТМ — рукой неизвестного лица под заглавием «Рашель и правда. Элегия-ода-сатира» с эпиграфом из Лермонтова и посвящением «Славной памяти Павла Степановича Мочалова и живой славе Островского и Садовского с любовью и почтением Аполлоний Григорьев. Лета от воплощения Божественного слова 1854. Месяца января в 11 день». Список обрывается на ст. 207, содержит описки и ошибки, отсутствующие в др. источниках текста (ГЦТМ им. Бахрушина. Ф. 200. № 3650).

Сохранились машинописные копии текста, сделанные с указанных автографов в начале XX в. потомками Эдельсона: в архиве Е. Б. Эдельсона (РНБ. Ф. 1123. № 28) и Е. Н. Эдельсона (РГАЛИ. Ф. 1205. Оп. 1. № 102. Л. 1–16).

Список ГЦТМ, в котором посвящение Мочалову, Островскому и Садовскому датировано Григорьевым 11 января 1854 г., позволяет утверждать, что стихотворение писалось в конце декабря 1853 — самом начале января 1854 г., то есть еще во время репетиций в Малом театре пьесы «Бедность не порок», о которой говорится во второй части стихотворения, но премьера которой состоялась 25 января 1854 г. Датировка подтверждается и письмом Григорьева М. П. Погодину (между 11 и 15 января 1854), где сообщалось, что «об известных стихах говорят уже и с именем автора» (Григорьев. Письма. С. 72). Стихотворение, как известно из следующего письма Ю. Ф. Самарина к Погодину (первая половина февраля 1854 г.), к началу февраля уже ходило в списках и читалось на вечере у Киреевского, вызвав целый ряд претензий: «Возвращаю Вам стихи Григорьева. Они были прочтены на вечере у Киреевского. Вот и суждение присутствовавших: Киреевский советует напечатать; Хомяков решительно противится печатанию, находя крайне неуместным отзыв о преуспевании искусства и науки *под державной сению* в то время, когда нельзя напечатать второй части “Мертвых душ”, ни перепечатать первой. С моей стороны, я нахожу, что первая часть отличается искренностью и свежестью впечатления первой молодости. Во второй части меня поражает неприятно прямой переход от Мочалова к Островскому и Садовскому.